

ВЯЧЕСЛАВ ЕЛАТОВ

## РОДНЫЕ ФИЛОЛОГИ. ЛГУ, 1960-е

*Заметки на полях рецензии*

*Отечество нам — Царское Село...*

Пушкин

“Широка страна моя родная...” В легендарные времена Союза Советских Социалистических Республик эти слова из песни В. Лебедева-Кумача на музыку И. Дунаевского наполнялись для нас совершенно конкретным смыслом: самым обычным тогда делом было родиться где-нибудь в Петербурге, как Александр Волошин, или в деревне Чуркино Владимирской области, как Геннадий Молостнов, или в станице Отрадной, как Гарий Немченко, — чтобы обрести потом вторую родину на Земле Кузнецкой. И вполне привычным было в качестве промежуточного звена, непродолжительного, но насыщенного периода духовного взросления, иметь за спиной какое-нибудь техническое или гуманитарное (как у Немченко — факультет журналистики МГУ) образовательное учреждение, этакую *alma mater* на всю оставшуюся жизнь. Таким трамплином для меня, например, родившегося под благословенным небом солнечного Азербайджана, стал в своё время Ленинградский государственный университет, откуда я по распределению отправился в город шахтёрской славы Прокопьевск.

Нередко всё зависит от того, куда и как нас выведет кривая. Так навсегда остался на чужбине наш поэт Саша Чёрный, вдали от отеческих гробов завещал похоронить себя Иосиф Бродский. Из своего германского далека наблюдает за происходящим в России автор “почти повести” под названием “Одноклассники” Олег Юрьев (“Новый мир”, 2013, № 6). Так, преуспевая, мыкаются сегодня по свету тысячи наших предприимчивых соотечественников... Но мысли о Родине, родине большой и малой, — будь то Россия или *Russia*, как бы они её сегодня ни называли, — не отпускают, то тут, то там дают о себе знать то визитом в *родные пенаты*, то публикацией, которую пронизывает щемящее чувство ностальгии по тому, что некогда было и по сей день остаётся незаменимо дорогим и близким, несмотря ни на какие потуги “отстранённости”. Это чувствуется и в критическом отзыве Евгения Добренко “Родные космополиты” (“Новый мир”, 2013, № 4) — о двухтомнике П. А. Дружинина “Идеология и филология. Ленинград, 1940-е” (М., “Новое литературное обозрение”, 2012).

Работа Добренко — это, по сути, не столько рецензия, сколько публицистическая миниатюра. Тем не менее, заинтересованный читатель найдёт здесь, за вычетом ярко выраженной полемической составляющей, достаточ-

но информации, а ещё больше – имён ленинградских учёных, оставивших заметный след в отечественной филологии. К числу таких читателей относит себя и автор настоящих строк, выпускник отделения русского языка и литературы филологического факультета ЛГУ 1966 года.

Рецензенту, во-первых, удалось привлечь внимание к исследованию, чёткие пяты объёма которого составили архивные материалы. Во-вторых, он сумел предостеречь коллег от не критических ссылок на эту работу архивиста, в которой он обнаружил нестыковки, неточности и спорные стяжки. Дело в том, что Дружинин выступает не столько в качестве квалифицированного архивариуса, сколько в качестве общественного обвинителя. Полагаю, что Добренко не утрирует, когда относит этот труд к жанру журналистского расследования. Для вящей убедительности он сравнивает его с огромным и страшным пазлом. В этом случае исследование утрачивает свою ценность в обратной геометрической прогрессии: чем тенденциозней выбор картинки и чем тщательней подбор соответствующих документов для её воссоздания, тем больше вероятность нестыковок и тем худосочнее оказывается в результате её филологическое содержание. Не случайно наш проницательный коллега отмечает, что Дружинин исследует не столько науку о литературе, сколько номенклатурно-академический быт, адресуя, таким образом, свою монографию, прежде всего, историкам и краеведам. Не удивительно поэтому, что обильно цитируемый Фрейденберг, Гинзбург и Эткинду передоверена задача исторического осмысления предлагаемого нам “пазла”. Идеология, если вернуться к названию двухтомника, заметно потеснила филологию, а мемуаристы своими страстными проповедями заслонили литературоведов. Так и хочется в какой-то момент остановить – на манер фадеевского Левинсона – увлечшуюся своими историческими интерпретациями Фрейденберг: “Ольга... Ольга... Подвинься малость – коллег загораживаешь!”

Впрочем, Ольга Фрейденберг из ЛГУ 1940-х только исполняет ту роль, которую уготовил ей автор журналистского расследования. К тому же Пётр Дружинин не одинок, когда, оперируя документами, предлагает нам этакое “занимательное литературоведение”. Вот и Наталья Громова спешит в архив литературы и искусства для того, чтобы целенаправленно и сознательно отобрать там документы для своей “картинки” – архивного романа под названием “Ключ” (“Знамя”, 2012, № 11). Она так же, как и Дружинин, тщательно выбирает бумаги знакомых ей литераторов. Для тех, кто ознакомился с этим документально-художественным произведением, будет вполне уместным напомнить, что история русской литературы XX века – это не история борьбы писателей и поэтов против Советской власти. В этом я полностью согласен с Захаром Прилепиным (“День литературы”, 2010, № 9). Да и упомянутый выше Олег Юрьев проявляет в этом вопросе похвальную объективность, когда говорит о “картинках” в произведениях Солженицына и иже с ним. Пытаясь сказать свою “правду”, они, по мнению коллеги, осевшего на постоянное жительство в Германии, невольно творили другую “неправду”: “жизнь СССР состояла не исключительно из лагерей, волн террора, страха и убогости”. А у Евгения Добренко, похоже, уже готова своя “картинка”, когда он сам выступает в роли исследователя “формовки советского читателя”: “Это сейчас мы привыкли, что “Пушкин – наше всё”, а по тем временам (речь идёт о гимназическом учебнике 1883 года – будто и не было никакого Достоевского с его речью на открытии памятника поэту в Москве! – В. Е.) Пушкин был кем-то вроде Пелевина” (“Русский репортёр”, 2013, № 5)...

Таким образом, на наших глазах складывается этакое “пазлообразное” направление в работе с архивными материалами. Это напоминает то самое размывание филологического подхода, на которое обратил наше внимание профессор кафедры истории русской литературы МГУ Андрей Ранчин в связи с работами известного филолога из Российского государственного гуманитарного университета Ирины Сурат (“Новый мир”, 2012, № 10). Он же, кстати, предостерегает нас от безоглядных ссылок на свидетельства мемуаристов, в каком бы архивном облачении они ни предъявлялись: “Ирина Сурат не вполне свободна от мифа о Мандельштаме, созданного его вдовой в замечательно глубоких и умных, но крайне субъективных мемуарах”. Ссылка на московского доктора филологических наук позволяет говорить об упомянутом выше направлении как “мифологическом”. Так или иначе, но речь, по сути, идёт о той ограниченности, которую проявляют специалисты, когда выходят за пре-

дела своей профессии. Пётр Дружинин оказывает медвежьёю услугу ленинградским филологам, когда выставляет их в роли самодеятельных историков: “беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник!”

К сожалению, рецензент утрачивает способность к объективности, выстраивая свой отзыв на основе статьи Галина Тиханова “Почему современная литературная теория произошла из Центральной и Восточной Европы? (И почему она сейчас мертва?)” – “*Tihanov Galin. Why did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?)* – “*Common Knowledge*”, Winter 2004, vol. 10, № 1. P. 62). Такое случается. Помнится, как подобным же образом обрёк себя на неблагоприятную роль подголоска в рецензии на монографию Ирины Паперно “Семиотика поведения. Николай Чернышевский, человек эпохи реализма” известный наш современный критик Михаил Золотоносов (*Moscow News*, 1996, № 32). В своё время я откликнулся на неё статьёй “Нет, это не наука” (1996). В результате досадная нестыковка из тихановской программной статьи перекочевала в рецензию: недоумение вызывает тезис о мёртвой литературной теории.

В начале 1990-х общее внимание привлекла бурная деятельность “могильщиков”, инициированная статьёй Виктора Ерофеева “Поминки по советской литературе”. Тогда же под грохот погребальных барабанов закрывали кафедры советской литературы в университетах. В том же СПбГУ такой кафедры сегодня нет. С этим можно было соглашаться или нет, но тогда, по крайней мере, всё было понятно: кто кого и за что хоронит. Но на чьи похороны ссылают нас теперь? Тиханов реанимирует идею поминок а la Ерофеев, чтобы примерить её сегодня на советскую науку о литературе? Это было бы логично: разделались с советской литературой – добрались вслед за ней и до советской филологии. Ан не тут-то было: оплакивают почившую в Бозе науку, круто замешанную на “бродильном космополитическом компоненте”! Такой головомомный трюк заслуживает того, чтобы на нём остановиться особо.

Начнём с того, что Тиханов ассоциирует космополитизм в науке о литературе с филологией в целом: современное литературоведение – это побочный продукт космополитизма. Схема – проще некуда: была-де поначалу настоящая советская наука, то есть с известным бродильным компонентом. Были и настоящие советские филологи. Но благоденствию этому пришёл конец в послевоенные годы: советская наука о литературе исчезла в 1946–1953 годах. Не расходясь с Дружининым, Тихановым и Добренко в главном, Олег Юрьев эту катастрофу относит к 1930-м годам. И возникло, дескать, “патриотическое” литературоведение, царство которого продолжалось до конца 1980-х. В другом месте рецензии высказано сожаление о том, что классическая фундаментальная наука – а именно на неё навесили заковыченный ярлык “патриотической”! – пережила и хрущёвскую “оттепель”, и горбачёвскую “перестройку”, и ельцинские “реформы” и здравствует как ни в чём не бывало сегодня, в “нулевых” и уже в 10-х XXI века. Ну, попробуй-ка тут разберись, что к чему, когда так городят семь вёрст до небес, и всё лесом! Вот и Юрий Каграманов – какого эксперта в качестве примера нам ещё нужно! – и тот совершенно сбит с толку подобными пируэтами: “А вот академический мир проявляет в интересующем нас плане впечатляющую неразворотливость. <...> академическая наука, похоже, основательно запуталась и не способна толком что-то объяснить широкой публике...” (“Новый мир”, 2010, № 11. С. 137). И слава Богу, что неразворотлива! Это известная часть нашей литературной критики и публицистики, начиная с “оттепели” 1950-х, суетится и морочит голову широкой публике и не в меру впечатлительным писателям! Это они, “перестройщики” и “реформаторы”, рядятся сегодня под ту “академическую науку”, крёстным отцом которой был грибоедовский Репетилов. Какой с них может быть спрос! Нам просто не следует принимать всерьёз то, о чём они сегодня шумят, и не приписывать их откровения академической без кавычек науке.

Итак, фундаментальная наука оказалась живучей в силу своей неразворотливости. Тех, в ком не забродил пресловутый “компонент”, это обнадёживает. Понятна и та удручённость, какую вызывает этот факт у наших оппонентов. Но зачем же доводить дело до истерики? К чему эти погребальные – не по адресу! – фанфары? Думаю, что Тиханов и К\* лукавят. Сочиняя свою мессу по успешному космополитизму, они не могут не знать, что с помощью “бродильной” критики у нас была и “другая” литература, и “другая” наука о литературе, щеголявшие в нарядах то постмодернизма, то культурологии, то – в самое

последнее время – крутого, с вавилонской разноголосицей и пылью до небес, антропологического поворота. Прикидываться сегодня такими наивными простачками и тянуть зауспокойную молитву по живому – это тот самый режущий слух мотив, от которого (наши англоязычные коллеги знают это лучше других!) – *the tune the old cow died of*, как уверяют англичане, – сдохла, не выдержав, старая корова.

Да, наши коллеги лукавят. Погребальная “шова” (да простит мне шеффилдский коллега такое запанибратское обращение с английской лексикой: нам тут, в “Раше”, и не такое доводится слышать!) устраивается сегодня для того, чтобы увести вновь и вновь реанимируемый “компонент” от ответственности за нынешнее удручающее – и в этом наши с рецензентом мнения совпадают – состояние гуманитарной науки: это не он, мол, за всё это безобразие в ответе; он-то, болезный, ведь давно почил, какой с него может быть сегодня спрос? Это всё она, треклятая “патриотическая” филология виноватая! Это всё “люди 1949-го”, их ученики и последователи виноватые! С них вот и спрашивайте... Что ж, спрашивают – надо отвечать, ибо, судя по всему, мы, выпускники ЛГУ 1960-х, в этих самых презренных наследниках традиционной филологии и числимся.

Начну с режущих глаз нестыковок в суждениях рецензента. В системном кризисе со второй половины 1940-х находилась якобы советская гуманитарная теория, но умирает не она, а непримиримая по отношению к ней “другая”. Не стыкуется и время кончины: у Дружинина это вторая половина 1940-х, у Юрьева – 1930-е, а Фрейденберг говорит, по сути, о 1917-м, когда и к власти, и в филологию пришла крепостная Россия, “с рабством в крови, тёмная. Забитая и жестокая, стала у всех рулей <...>”. Приведу и другую цитату из того же дневника самодетельного историка, в роли которого выступает на страницах двухтомника профессиональный филолог, а читатель пусть сам попробует состыковать её с первой цитатой: “Сталин призвал к власти этих управителей, помещичьих хозяйчиков, жандармерию, станowych, кулаков, кабатчиков. Сейчас они стали заведующими столовыми и магазинами, управляющими домами и начальниками учреждений <...>”. Фрейденберг не откажешь в наблюдательности. Она должна была видеть то, о чём с такой страстью, пусть непоследовательно и противоречиво, но с таким неподдельным отвращением писала в своём дневнике. Очевидно, есть правда в наблюдениях филолога из ЛГУ, она видела и хорошо знала тех людей, о которых так выразительно писала. Она в данном случае не лукавит.

Лукавят авторы пазла-страшилки и программной статьи об упокоении современной литературной теории. Дружинин, по меткому замечанию рецензента, выступает в роли манипулятора архивными материалами: “Собственно, выстраивание документов и исторический нарратив и составляет содержание 1300 страниц текста. Работа исследователя в этих условиях технически сводится к работе монтажёра, но содержательно – к работе обвинителя”. Слово сказано: мы имеем дело с искусным монтажом. В этом и проявляется лукавство: объективная картина подменяется произвольной и предельно тенденциозной “картинкой”. Такими вот цирковыми манипуляциями читателя подспудно подталкивают к заведомо ложному выводу: вот когда мы по-настоящему захороним патриотически ориентированное литературоведение, которое, дескать, до сих пор в плену советских национальных мифов, вот тогда-то и воскреснет та, настоящая наука – с бродильным, как сегодня, антропологическим, а завтра – с каким-либо ещё покруче поворотом. Свежо предание!

В центре рецензируемого двухтомника – ленинградская филология. Точнее – филфак ЛГУ 1940-х. Но Добренко не ограничился этим периодом (в противном случае у меня не было бы повода откликнуться на его статью) и вслед за Тихановым ведёт разговор в целом о советском периоде, захватывая и постсоветский. Отделяваясь общими советологического покроя стереотипами и штампами, он не называет тех, по его определению, невежд-всезнаек, тех проходимцев, которые преподавали и вели научную работу на филфаке после 1953-го. Может быть, потому, что филфака 1960-х он просто не знает: не знает ни Проппа, который в это время читал нам курс устного народного творчества, ни Ерёмина с Берковым, ни Макогоненко с Мануйловым, ни Деркача с Бялым, не говоря уже о кафедре русской советской литературы. Да и с автором тетралогии о Пряслиных, который заведовал этой ликвидированной кафедрой в 1950-х, наш коллега, судя по рецензии, не встречался. Остаются

70–80-е. Но ведь и там, по предлагаемой нам тихановской схеме, правила бал если не сами “люди 1949-го”, то их питомцы, то есть всё те же *околонаучные пройдохи*. Да, незавидной была школа у нашего рецензента, и вряд ли прорехи в его академическом образовании могла позже восполнить практическая работа советолога, специализирующегося на “Сталинской культуре”.

Пытаясь найти объяснение такой *остраненности* от добротного филологического образования, вспоминаю, что где-то я читал, с каким сожалением говорил о годах своего студенчества в МГУ один из известных его выпускников 1970-х Юрий Кублановский: не добрал-де, сетует он, из кладезя академической премудрости из-за легкомысленного сближения с декадентствовавшей богемой. Сегодня, кстати, поэт, полемически заостряя свои суждения о советском прошлом, говорит, что “прежняя образованщина ныне представляется достойным культурным слоем” (“Новый мир”, 2012, № 3. С. 141). Но разделяет ли подобное сожаление и прозрение Евгений Добренко? Вряд ли. А как иначе объяснить, что он с такой лёгкостью вставляет в обойму родных ему космополитов не только “преподавателя немецкого языка” Проппа (по студенческим лет привычке у своих родных филологов я опускаю инициалы), но и специалиста по истории отечественной литературы первой трети XIX века М. А. Гиллельсона, знатока творчества Белинского, Герцена и Гоголя Ю. Г. Оксмана, исследователя русского XVIII века И. З. Сермана? Не говоря уже о Г. А. Гуковском (называю тех, кто перечислен в альтернативной истории отечественной литературы по Эткинду), который сегодня – как кость в горле апологетов постмодернизма и последующих “поворотов”! Как, впрочем, и названные перед ним, если судить о них по научным трудам, а не документально-мемуарному монтажу. Какие же из них космополиты, когда всё их творчество – лишь те самые “советские национальные мифы”, в плену которых, по мнению Добренко, до сих пор находится наше по-русски провинциальное “патриотическое” литературоведение? Зачислять их в свою родню – значит, идти на поводу злостных клеветников и доносчиков.

Отсюда вывод: манипуляция двумя обоймами, произвольно заполненными именами ленинградских филологов, – это лишь составная часть монтажа, к науке о литературе не имеющего никакого отношения. Отсюда и заключение: даже о тех, кому Дружинин уготовил в своей “картинке” роль пропагандистов и агитаторов, нам следует говорить, прежде всего, как об учёных. Об О. М. Фрейденберг – как о специалисте в области античной литературы и организаторе кафедры классической филологии в ЛГУ. О Л. Я. Гинзбург – как об исследователе творчества Пушкина и Лермонтова, Белинского и Герцена. О направленности научных интересов ученика В. М. Жирмунского Ефима Эткинда мы тоже судим по его “альтернативной истории”, традиционной и без “бродильного компонента”. Таким способом мы можем разрядить эти противопоставленные одна другой обоймы, суть которых сводится к следующему: если, мол, славу советской литературной науки составили (обойма со знаком “плюс”) Эйхенбаум, Жирмунский, Гуковский, Азадовский, Оксман, Пропп, Томашевский, Фрейденберг, то сгубили (обойма со знаком “минус”) эту самую советскую филологию Бельчиков, Базанов, Сидельников, Благой, Храпченко, Самарин, Бушмин, Щербина, Бердников... Такие вот предлагаются нам номенклатурно-академические списки “чистых и нечистых”. С соответствующими характеристиками: о первых сказано, что они были европейски (будто Россия испокон веков была дремучей “Рашей”!) образованными людьми; о вторых – что это были невежды и проходимцы... Свежо предание! Ведь ещё Блок – задолго до О. М. Фрейденберг и Олега Юрьева! – говорил о вековой распре между “чёрной” и “белой” костью, между “образованными” и теми, кому к образованию путь был наглухо закрыт, между интеллигенцией и народом. Ведь это он тогда, сто лет назад, укорял русскую интеллигенцию, которой, по его словам, “точно медведь на ухо наступил”: не стыдно ли кичиться своей образованностью и издеваться над безграмотностью непрощённого народа?!

После такого расклада читателю остаётся только решить, кому он наследует, какую родословную из двух предложенных он для себя выбирает. Неискушённый читатель, к сожалению, именно так и поступает. Он не замечает подмены, весь фокус которой заключается в том, что ему с ловкостью напёрсточников подсунули ложную дилемму: “чистые” или “нечистые”? Свидетельствую: в моей филологической родословной оказываются имена из обеих ис-

кусно смонтированных обойм. С помощью лично известных мне коллег, я буду говорить о ленинградских филологах, опираясь на их преподавательский опыт и научное наследие.

Родные филологи 1960-х! В числе первых, кто приветил нас, вчерашнюю абитуру, согласно учебному плану и расписанию занятий отделения русского языка и литературы были Ветвицкий и Мануйлов, Пропп и Рождественская. С первых же лекций и семинаров нам был задан тот академический тон общения, когда в порядке вещей считается, что студент может в чём-то и не согласиться с преподавателем. Пусть он на первых порах и заблуждается в силу своей неосведомлённости, но студент, как напомнил нам великое изречение древних ректор университета Александр Данилович Александров, – это не сосуд, который надо наполнить, а светильник, который надо зажечь... Сегодняшний ЕГЭ, по-моему, противостоит такой ориентации: безликие тесты заметно потеснили личный контакт экзаменуемого с экзаменатором. На моей памяти экзамен продолжал “образовывать” будущих специалистов, а не превращался в ритуальный досмотр “сосудов” – “чайников” и прочей кухонной утвари. Помнится, как настраивал нас на свой экзамен специалист по испанской литературе, читавший нам курс зарубежной литературы эпохи Возрождения: мне скучно будет выслушивать от вас то, о чём рассказывал я в своих лекциях; а вот если вы принесёте на экзамен что-нибудь, о чём я сам ещё не слышал, – это будет для меня настоящим праздником...

Рождественская в своих лекциях вводного курса современной русской советской литературы подзадоривала новоиспечённых первокурсников своим демонстративно критическим отношением к Евгению Евтушенко и показным скепсисом в оценке интимной линии сюжета романа Галины Николаевой “Битва в пути”. Не уступал ей в этом отношении и Мануйлов. Одну из своих очередных лекций по курсу “Введения в литературоведение” он устроил для нас в Эрмитаже. Развернув группу студентов со сноровкой знающего своё дело экскурсовода перед картиной художника-модерниста, он незаметно покинул преподавательское место и скромно встал в сторонке. На обращённые к нему наши вопросительные взгляды он лишь пожимал плечами и едва уловимым жестом отсылал к экспонату: думайте, мол, сами, решайте сами...

У Ветвицкого на семинарах по современному русскому языку была характерная манера: поднеся палец к уголку рта, он выдерживал паузу, будто и сам был озадачен возникшим вопросом. Вместе с ним на поиск устремлялись и мы... После Ветвицкого нас на той же кафедре обрабатывали, сменяя друг друга, Тарковский, Фёдорова, Соколова... Тарковский был не просто одним из родных филологов, он стал для меня и *крёстным отцом*. Когда на втором курсе я задумал было оставить филфак, чтоб вновь поступать на философский, Ростислав Беакаевич два часа не выпускал меня с кафедры, пока не убедил: окончи сначала филфак, получи добротную конкретную специальность – и лишь потом иди и занимайся своей философией, сколько твоей душе будет угодно!.. Впрочем, и на записанной в дипломе специальности филолога-литературоведа я остановился не сразу: лингвистика или литературоведение, фонетика или фольклор, древняя или современная советская литература?.. Остановившись на советской литературе, я до сих пор с благоговением отношусь к тем предметам, которым я, в конце концов, предпочёл современную литературу. Благословенная наша литература 1950–1980-х! Кто только из диссидентствующих не бросал в тебя камень презрения и безоговорочного осуждения! Теперь, правда, те же камни из тех же рук полетели в русскую досоветскую классику – такой вот “поворот”... Но вот три года назад выпускник МГУ Владимир Березин уже говорил о том, что претензии к советской литературе нужно выстраивать очень осторожно. А по поводу поминок он, с одной стороны, заметил, что слухи о смерти советской литературы были преувеличены, а с другой – прозорливо объяснил: то, о чём писал Ерофеев, было не концом советской литературы, а “началом конца литературы вообще” (“Соль”, 2010, 2 августа).

Помню, как Фёдорова преподавала нам урок академической благопристойности. По какому-то из обсуждаемых вопросов я позволил себе не согласиться с ней. Прямо с семинара она отправила меня за нужным текстом в факультетскую библиотеку, и когда оказалась, что у меня были основания для возражений, она, во-первых, похвалила меня за усердие, а во-вторых, объяснила причину своих сомнений: профессиональные лингвисты настоль-

ко погружены в историю языка, что порой перестают ощущать грань между его вчерашним и сегодняшним днём. Так нас тогда учили – совсем не в духе той непочтительности к своим учителям, о которой читаем в рецензии Добренко. А Соколова вспоминала о своём дореволюционном студенчестве: и тогда, как позже Кублановский, не все рвались, например, на лекции Шахматова. И тогда была разная мотивация: кто-то настраивал себя на занятия наукой, а кто-то метил на тёплое номенклатурное местечко... А сама Соколова уже тогда, в силу преклонного возраста, читала свои лекции по истории русского языка в аудитории первого этажа. Сидя рядом с кафедрой на стуле, она перебирала свои карточки, страницы будущей книги, и доверительно беседовала с нами о том, что ещё не попало в учебники: по учебникам, мол, вы и без меня подготовитесь к экзаменам... Как далеко это отстоит от сегодняшней практики натаскивания к ЕГЭ! Первокурсники, поступившие в МГУ в 2009 году, свидетельствуют: последние три года в школе они не читали книг и не писали сочинений, а лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки (“Огни Кузбасса”, 2013, № 2. С. 152).

Перебирая в памяти известных мне ленинградских филологов 1960-х, вспоминаю случай, который свёл меня однажды с деканом филфака Борисом Александровичем Лариным, который ушёл из жизни, как и профессор Ерёмин, ещё в мою бытность студентом. Формально он занимал одно из тех престижных рабочих мест, из-за которых всегда и прежде всего ведёт свой торг околонучная тусовка. Но лингвист напрочь затмил в Ларине декана. И я это лишний раз почувствовал во время той памятной для меня мимолётной встречи. Со своей работой по составлению диалектологических карточек для словаря севернорусского говора я устроился в одной из свободных аудиторий. Открывается дверь, на пороге – Ларин, за ним – группа учёных. Декан никоим образом не дал мне почувствовать ту иерархическую пропасть, которая разделяла нас: поздоровавшись и вежливо справившись, не помешают ли они моим занятиям, он пригласил в аудиторию своих коллег. Я не мог не прислушиваться: обсуждалась работа Льва Успенского, который известен не только как писатель, но и в качестве серьёзного языковеда; он участвовал, например, в составлении словаря древнерусского языка.

Родные филологи 1960-х! Кроме русского и одного из западноевропейских языков, нам давали старославянский и один из современных славянских языков. Польскому языку в течение двух лет нас обучал доцент кафедры славянского отделения Оболевич. Ему же я обязан и стилем ведения школьных уроков, который нередко воспринимался проверяющими как замедленный. Он не спешил с порога обрушивать на нас свою учёность и всегда оставлял “воздух” для живого общения со студентами. Какие-то из его ненавязчивых наставлений помогают мне и сегодня. Он, например, говорил: работайте без оглядки на то, печатают вас или нет; если работа стоящая, придёт время и для её публикации. Именно так! Что-то из моей литературной публицистики печатали сразу, другое – года через три, третье отстаивалось в течение аж десяти лет...

После вводного курса Мануйлова нашим приобщением к литературоведческому ремеслу напрямую занимались Берков, Холшевников и Плоткин. Просеминар первого из них так и назывался: “Введение в технику литературоведческого исследования”. Помню себя на кафедре перед Берковым, перебирающим мои карточки с литературой по заданной теме. Я прислушиваюсь к его замечаниям. Добрая половина собранного мной материала осталась без комментариев: он просто откладывал такие “пустышки” в сторону... Теперь эту работу я проделываю самостоятельно: нагребая материал, потом – “сажусь перед Берковым” – безжалостно удаляю всю пробравшуюся в науку халтуру... Было у кого поучиться в 1960-х!

А Холшевников читал нам курс поэтики и стилистики. По его совету (что там, дескать, писать о стихах – это несложно; а вы попробуйте себя в работе над прозой!) для своей курсовой я выбрал тему “Поэтический синтаксис в рассказе А. Солженицына “Матрёнин двор”. К стихосложению по Холшевникову я вернулся позже, когда вёл в школе соответствующий факультатив. Кстати сказать, в связи с этим я вышел и на Мануйлова – теперь уже в качестве автора сонета, написанного им вскоре после окончания гражданской войны:

*Так жизнь летит конём неудержимым  
По целине моих весенних дней  
И с каждым днём становится родней,  
Пороховым овеянная дымом.*

*Мужали мы, когда в краю родимом  
Из года в год бывало голодной.  
Когда под грохот боевых огней  
Горели мы в костре неповторимом.*

*Вот отчего я солнце так люблю  
И знаю цену этой жизни милой,  
И мотыльку, и каждому стеблю.*

*Недаром сердце бьётся светлой силой  
И радостно стучит, к земле припав,  
И слушает шушанье мудрых трав.*

Заключительным аккордом в моём становлении в качестве филолога-литературоведа стала дипломная работа “Пейзаж как средство композиции в романе Леонида Леонова “Русский лес”, которая была написана под научным руководством Плоткина. Не стану обходить обозначившийся сегодня “острый угол”: в статье “Одноклассники” о последнем поколении русского литературного модернизма (“Новый мир”, 2013, № 6) Олег Юрьев выступил в качестве непримиримого оппонента советской литературы и советского литературоведения. Во-первых, достаточно сравнить его оценку творчества Веры Пановой с тем, что мы находим в монографии Плоткина “Творчество Веры Пановой” (1962). Её пример послужил Юрьеву отправной точкой для далеко идущего вывода, о котором он пишет в заключении: “Итак, общее правило: средняя модернистская проза первой трети XX века хуже средней реалистической прозы того же времени, но вершины её далеко, то есть высоко превосходят вершины реалистической литературы от Горького до Шолохова <...>”. Вот так, ни больше, ни меньше: от Горького до Шолохова! А в отправной точке он так же высоко вознёс над Верой Пановой Всеволода Петрова. Во-вторых, он столь же пренебрежительно отозвался о “Леонидах Леоновых и иже с ними”, зацепив, таким образом, всю последующую советскую литературу, не исключая ни Гранина, ни Дудинцева, с почтением упоминаемых в рецензии Добренко, и где-то самым краешком – мою дипломную работу.

Категоричность, говорят, – признак ограниченности. Если Кублановский и не добрал чего-то как искусствовед в МГУ, то у Юрьева, выпускника Ленинградского финансово-экономического института, проблем с этим, очевидно, было не меньше... “Беда, коль пироги начнёт печи сапожник!” А за плечами у Плоткина – участие в работе Первого съезда советских писателей (членский билет, подписанный Горьким, он хранил всю жизнь), докторантура в Институте русской литературы Академии наук в том же Ленинграде, заведование после Фёдора Абрамова кафедрой советской литературы в ЛГУ, работы о Писареве, Герцене, Чернышевском и поэтах XIX века И. Никитине и А. Кольцове. Он был одним из авторов школьного учебника по советской литературе, который выдержал двадцать два издания. На наши вопросы относительно его переработки объяснял, что “Учпедгиз” не давал им на то своего согласия. Уже в Прокопьевске меня догнали его книги “Литература о войне” (1967) и “Даниил Гранин” (1975).

До моей дипломной работы у Плоткина у меня был ещё его же спецсеминар по современной русской советской прозе с курсовой работой о проблемах социалистического реализма. Как сейчас помню её обсуждение на одном из последних занятий. Во-первых, я высказал претензии к А. Солженицыну: он-де изображает жизнь статично. Плоткин тут же отреагировал, умерив мой школярский запал: а ты сам попробуй дать её в развитии, а потом требуя от Солженицына!.. Я до сих пор оглядываюсь на тот спецсеминар и прислушиваюсь к Плоткину, когда пишу о втором полупериоде русской советской литературы. Так было в 2000-м, когда я писал статью “Воскресение”. Так было и в 2006-м, когда в статье “Прощание с Матрёной” я вернулся к известному рассказу Со-



лженицына в связи с экранизацией его романа “В круге первом”: “Непроходимая, вездесущая дурёха – вот во что превратилась возвышенная мечта “шестидесятников” об идеалах глубинного народного самосознания. “Святая!” – ещё шепчет кто-то рядом. “Дура!” – гогочет в ответ прагматичная тусовка”.

Если на просеминаре у Беркова я получил первое представление о том, сколько “пустышек” оказалось в моей картотеке, то во время работы над проблемами соцреализма я был поражён масштабами этой кормушки для “пустышек”. А Плоткин только улыбался, наблюдая, как я учусь отличать полноценные зёрна литературоведения от пустопорожних “паровозных” плевел. Это было вторым (после суждения о художественном методе Солженицына как о реализме критическом) “научным” для меня открытием: я стал различать ничего не говорящие штампы, которые, как паровоз, должны были вытягивать за собой до наукообразного уровня весь следующий за ними состав псевдонаучной галиматии. Те уроки не прошли даром: я и сегодня узнаю их, паровозных дел мастеров, когда они под видом критики соцреализма в пух и прах разносят свои собственные вчерашние “паровозы” (да поймут меня правильно железнодорожники: речь идёт о “паровозах” филологического разлива). Потеха! Вчера они несли несусветную чушь об этом художественном методе, а сегодня они же с пеной у рта доказывают его несостоятельность. Имеющий очи да видит: наука всегда отличалась от наукообразных поделок, будь то суждения о соцреализме, личности великого русского поэта Пушкина или выдающегося нашего мыслителя Чернышевского... Чего бы ни касалась рука этих якобы учёных, этих современных мидасов (была такая прореха на человечестве в образе непомерно жадного до золота царя), всё обращается в гадость и мерзость, будь то филология или генетика, электроника или астрономия...

С фундаментальными курсами фольклора и истории письменной литературы нас знакомили, сменяя друг друга, Пропп и Ерёмин, Берков и Макогоненко, Деркач и Бялый, Наумов, Плоткин и Гладковская. Помню, как я сдавал экзамен по устному народному творчеству. Не дослушав моего ответа по вопросам билета, Пропп в режиме свободного собеседования поинтересовался, что я думаю о современном фольклоре. Выставляя в зачётку отличную оценку, он лаконично прокомментировал: “Вы думаете!” А потом усадил меня на своё место перед готовящимися отвечать студентами и – пошёл завтракать!.. Никакие, мол, шпаргалки и учебники – тогда ещё не было мобильных! – не помешают экзаменатору установить уровень подготовки студента во время их личной беседы. Так считал, к слову, и Бялый, когда, дождавшись, пока мы, первая четвёрка, возьмём билеты, поинтересовался, хватит ли нам сорока минут на подготовку, и ушёл по своим делам... А Пропп вернулся ко мне, когда много позже я обратился к литературной публицистике: как было, например, не сослаться на него, когда в 2006-м я писал о волшебниках в статье “Гарри Поттер и бывшие дети”.

При всём универсализме упомянутых Эткингом “Морфологии сказки” и “Исторических корней волшебной сказки”, никаким космополитом Пропп, конечно же, не был, если судить не по доносам, а по его собственным фундаментальным исследованиям и научным трудам названных в рецензии фольклористов: все они сплошь и рядом патриотичны. В 1955 году был опубликован “Русский героический эпос”, а спустя три года – “Былины”; в год, когда он читал нам свои лекции, вышли в свет “Народные лирические песни”, а спустя два года, в 1963-м, – “Русские аграрные праздники”. Не уступали ему и его коллеги из числа названных в рецензии Добренко. К “советским национальным мифам” могут быть отнесены опубликованные в 1958 году “История русской фольклористики” М. К. Азадовского и “Эпическое творчество славянских народов” В. М. Жирмунского. А как обойти вниманием материалы фольклорных экспедиций, которыми руководил В. М. Сидельников? Неужто только на основании того, что он попал в обойму “нечистых”, мы проигнорируем такие осуществлённые под его руководством издания, как “Волжский фольклор” (1937), “Красноармейский фольклор” (1938) и “Русская частушка” (1941)? Замечу, что даже по хронологии этих изданий мы не можем отнести Сидельникова к заклеянным “людям 1949-го”. А ведь у него были ещё и библиографический указатель “Русская народная песня” (1962), и такие обобщающие труды, как “Русское народное творчество и эстрада” (1950), “Поэтика русской народной лирики” (1959), “Былины Сибири” (1968), “Русское народнопоэтическое творчество советской эпохи” (1969)... Да, тысячу раз, повторяюсь,

прав Захар Прилепин: “История русской литературы XX века – это не история борьбы писателей и поэтов с советской властью”. То же самое я мог бы сказать и об отечественной филологии. Это не значит, что такой борьбы не было. Сошлюсь на признание Леонида Бородина в его последнем интервью, которое он дал молодому критику Веронике Васильевой, тем более что при этом писатель затронул и интересующий нас архивный вопрос: “<...> приход в литературу мой совершенно случайный. Я был в подпольной организации, мне дали задание вступить в Союз писателей”. И далее: “Периодически я удаляю все архивы, переписку со старыми жёнами – фиг кто докопается, что у меня было на самом деле”. Это признание стоит в одном ряду с манипуляциями архивными материалами, которые имеют место в работах Н. Громовой и П. Дружинина. Но это уже – “занимательное литературоведение”, вид развлечения и приятное времяпрепровождение на каком-нибудь почившем “Апокрифе” какого-нибудь Ерофеева.

Кроме Проппа, из филологов ЛГУ 1960-х никто больше в рецензии не назван, а ведь Добренко вывел читателя далеко за пределы 1940-х. История письменной литературы начиналась для нас с лекций Ерёмкина (древнерусская литература) и Беркова (XVIII век). С Игорем Петровичем Ерёмкиным филфак прощался в 1963-м. Его научное наследие и сегодня помогает нам противостоять напору космополитов – “евразийцев” и разного толка филологов от антропологии, – недооценивающих культуру средневековой, по Чивилихину, Киевской Руси. Нарушая предложенную нам сегодня схему, он в 1944-м публикует работу о “Слове о полку Игореве”, в 1946-м – монографию о проблемах историко-литературного изучения “Повести временных лет”, в 1948-м знакомит нас с поэтическим стилем Симеона Полоцкого, а в следующем – с “Киевской летописью”. Далее, опять-таки без оглядки на выстраиваемый сегодня частокол из 1946–1953-го годов, Ерёмкин исследует “Слово о полку Игореве” как памятник политического красноречия, в конце 1950-х он включается в дискуссию о реализме древнерусской литературы, а в 1961-м обращается к русской литературе XVII–XVIII веков... С такой погружённостью в науку о литературе у профессора, очевидно, не оставалось времени, чтобы отслеживать проблемы номенклатурно-академического быта. Вероятно, поэтому он и иже с ним и выпадают из поля зрения наших “расследователей”.

Ситуацию проясняет профессор из МГУ А. Ранчин. Он говорит о тех перекосах, которые совершенно исказили картину нашего прошлого, над созданием которой, добавлю от себя, трудились ленинградский филолог Ерёмкин и его коллеги. Постмодернистское сознание, продолжает А. Ранчин, объявило Прошлого производным от нашей системы понятий: “Кое-какие факты, конечно, когда-то имели место быть, но связь между ними, но наделение их смыслом всецело зависит от внешнего взгляда, от исследователя. Интерпретатор, будучи скорее не учёным, а художником, конструирует образ прошлого по духу своего времени и по собственному вкусу. <...> постмодернистский подход к прошлому – диагноз если не болезни, поразившей гуманитарное знание, то усталости и разочарования в возможности постижения истины, в правильном, адекватном истолковании текстов – источников других эпох” (“Новый мир”, 2011, № 9). Перефразируя Макогоненко (об этом родном филологе речь впереди), можно сказать, что в постижении истории нашего Средневековья нам следует устремляться – вперёд! – к Ерёмину...

Шаг за шагом, имя за именем, – где благодаря коллеге из Шеффилда, а где и вопреки его критическому запалу, – восстанавливаю свою филологическую родословную. Не задерживаясь на непреходящей ценности собственных трудов Беркова, смотрю, кто из предложенных читателю обойм входил в орбиту их притяжения. Тут и Б. М. Эйхенбаум с работами о Карамзине и поэтике Державина, и Г. А. Гуковский, возглавлявший группу по изучению русской литературы XVIII века при Пушкинском доме и посвятивший этому периоду такие исследования, как “Русская поэзия XVIII века”, “Очерки по истории русской литературы XVIII века”, а также учебник истории русской литературы того же периода...

Клеветникам-доносчикам, обвинившим его в космополитизме, не нравилось, вероятно, совсем другое, а именно патриотическая направленность его научной работы. На той же орбите, куда нас выводил в свих лекциях Берков, мы знакомимся с монографиями Макогоненко о Николае Новикове и русском просвещении XVIII века, с его же книгами о Фонвизине и Радищеве. Здесь же

мы находили работы И. З. Сермана о Ломоносове и Державине... В 2011-м я написал стихотворение “Серебряный век”:

*Ну, что там за мираж — “серебряный” ваш век?  
Стихи “другие” и совсем “иная” проза —  
И вот ещё вчера нормальный человек  
Стал обнаруживать все признаки психоза:  
То скачет, то лежит, не поднимая век,  
В душе наркотика губительная доза;  
То мутит дольника разболтанный калибр,  
То пытка — якобы стихами “под верлибр”.*

*Вот так и к нам словесность та пришла, “другая”:  
Не всё то яство, что нам дилер продаёт,  
Не всё то песня, что гремит, не умолкая,  
Не всё то серебро, что чернью отдаёт,  
Не всё уроки, что нам, вечер коротая,  
Владимир Познер до сих пор преподаёт...  
Другие овцы и другие пастухи,  
Под новой маской — те же старые грехи.*

*А век Серебряный сегодня мы забыли,  
Приняв за классику оптический обман;  
Век восемнадцатый — вот где слагались стили!  
Вот где классический рождался наш роман!  
Вот где поэзию у нас благословили!  
Вот где немеркнущая слава россиян!..  
Вот где явился нам один из тех пророков,  
Поэт Серебряного века Сумароков:*

*“Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил.  
Кто грамматических не знает свойств, ни правил  
И, правильно письма не смысла сочинить,  
Захочет вдруг творцом и стихотворцем быть.  
Он только лишь слова на рифму прибирает,  
Но соплетённый вздор стихами называет.  
И что он соплетёт нескладно без труда,  
Передо всеми то читает без стыда”.*

С какими-то из монографий самого Беркова мы могли познакомиться ещё в студенческие годы: “Александр Петрович Сумароков” (1949), “Василий Васильевич Капнист” (1950), “Владимир Игнатьевич Лукин” (1950), “История русской журналистики XVIII века” (1952)... Но главным для нас “первоисточником” оставались его лекции. “Новиков, — слышу его голос из-под наслоений минувших десятилетий, — запомните, где стоит ударение: Новиков...”

Век девятнадцатый ассоциируется у студентов ЛГУ 1960-х с именами Макогоненко, Деркача и Бялого. Как увлекательны и познавательны и как при этом не похожи были их лекции! Макогоненко в то время активно участвовал в полемике, разгоревшейся вокруг пушкинского “Евгения Онегина”. Помню, как во время одной из своих очередных лекций он картинно вышел из-за кафедры и обратился к аудитории с вытянутой вперёд рукой: “Вперёд...” А потом, выдержав паузу, указал большим пальцем той же руки назад: “...к Белинскому!” Мы не раз плотным кольцом обступали его со своими вопросами и всколыхнувшись с его подачи суждениями после его лекций, сопровождая его из актов зала в холл и не отпуская до звонка на следующее по расписанию занятие... Академическим духом на филфаке дышали и смежная с холлом лестничная площадка, и его узкие коридоры, и даже свободные от занятий аудитории... На экзамене я отвечал Макогоненко без подготовки. Это мало походило на сегодняшней “мониторинг”: то был разговор заинтересованных собеседников. Суть призыва возвратиться — вперёд! — к Белинскому противостояла позиция Достоевского, озвученной им в речи на открытии памятника Пушкину: Онегину незачем было, по Белинскому, смиряться перед

Татьяной. Да, он не понял в своё время всей глубины её близкой к народной жизни натуры. Но ведь и она — Макогоненко обратил наше внимание на трагедию дважды разминувшихся родственных душ — не поняла, какая с Онегиным произошла перемена после его путешествия по России. Духовно взрослеет Татьяна, преображается и Евгений. Но теперь она оказывается в плену светских представлений о ценности человеческой личности: “Онегин, я тогда моложе, // Я лучше, кажется, была...” Татьяна не понимает, что вспыхнувшая любовь Онегина к ней — это результат его духовного преображения. Как в поэтической миниатюре Пушкина: “Душе настало пробужденье, // И вот опять явилась ты...”; сначала — возрождение, и лишь потом — “гений чистой красоты”. Её, увы, хватило только на то, чтобы — настал-таки её черёд! — отчитать своего бывшего кумира... Я вспомнил об этом в 1994-м в статье “Классика до востребования”.

Макогоненко читал нам историю русской литературы первой трети XIX века. На том же периоде отечественной литературы специализировался и Мануйлов... “Широка страна моя родная...” В том же 1939-м, когда я родился в столице Азербайджана — городе Баку, — Мануйлов окончил историко-филологический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1961-м он был уже доцентом ЛГУ, а я — первокурсником. Он был лермонтоведом: в 1939-м опубликовал в Ленинграде книгу “Лермонтов. Жизнь и творчество”, в 1949-м в Пензе — “Лермонтов в Тарханах”, спустя два года в Ленинграде — “Лермонтов и наше время”. После этого и вплоть до того времени, когда я мог слушать и лицезреть его на филфаке, с 1961-го по 1966 год включительно, им изданы семинарий по Лермонтову (совместно с Вацуру и проходящим у Добренко по списку “чистых” Гиллельсоном) и комментарий к роману “Герой нашего времени”, “Летопись жизни и творчества Лермонтова”, “Лермонтов в Петербурге” и “Лермонтов в воспоминаниях современников” (совместно с Гиллельсоном). Не обошёл он в своих трудах вниманием и Пушкина и Гоголя. Кроме Мануйлова и его соавторов, указанный период исследовали Б. М. Эйхенбаум и Б. В. Томашевский, Д. Д. Благой, Ю. Г. Оксман и Г. А. Гуковский, Л. Я. Гинзбург, М. Б. Храпченко и В. Г. Базанов... Все они, так или иначе, попадали в поле нашего зрения либо в лекциях Макогоненко, либо на соответствующих спецкурсах и спецсеминарах.

Деркач знакомил нас с литературой середины XIX века. Помимо своего курса, он преподавал мне один из тех уроков, которые остаются с нами на всю оставшуюся жизнь. Я подошёл к нему, отдохнувшему после своей лекции на памятной лестничной площадке второго этажа, с каким-то вопросом, имеющим отношение к его лекции. Он внимательно выслушал меня, что-то разъяснил сам, а потом — это был урок! — назвал коллегу, узкого специалиста по интересовавшему меня вопросу. Это всегда удерживало меня в рамках своей компетентности потом: школьный учитель, конечно, должен знать всё о литературе, от самой древней до современной. Но выдавать себя за эдакого всезнайку — семи пядей во лбу — я, помня урок Деркача, воздерживался: делился своим мнением и отсылал любознательного ученика к источнику, где он мог получить исчерпывающую информацию. К кому из узких специалистов мог отослать меня тогда Деркач? Если речь шла о Козьме Пруткове, то это мог быть Берков. По Тургеневу я мог бы получить консультацию у Бялого. О Писареве и Никитине мне мог бы рассказать Плоткин. О литературной полемике 60-х годов XIX века мы могли пророчество у В. Г. Базанова, о Чернышевском и народничестве — у Н. Ф. Бельчикова, о сатире и сказках Салтыкова-Щедрина — у А. С. Бушмина...

Бялый на кафедре резко отличался от Макогоненко. Своим подчёркнуто разговорным стилем общения со слушателями он превращал свои лекции в непринуждённые беседы. На его спецкурс по Достоевскому, где нас, записавшихся студентов, было чуть больше десятка, валом шла ленинградская интеллигенция, благо никакой охраны в университете тогда не было. Желающих послушать было так много, что занятия были перенесены во вторую по величине после актового зала 38-ю аудиторию, где обычно проходили обязательные для всего курса лекции. В первых рядах устраивались мы, студенты, а за нами — школьные учителя, вузовские преподаватели и просто заинтересованные слушатели: говорили, что спецкурс по Достоевскому был у Бялого семь лет назад, так что нам, можно сказать, повезло. Так было...

Остановив свой выбор на кафедре русской советской литературы, в дополнение к обязательным курсам, которые читали нам Плоткин, Наумов и

Гладковская, я прослушал спецкурс по современной русской советской драматургии у Гладковской и углубил свои представления о современной русской советской прозе в спецсеминаре Плоткина. Дело, начатое Рождественской на 1-м курсе, практически не прерывалось в течение последующих пяти лет обучения. Не однажды за это время кафедра советской литературы проводила открытые обсуждения литературных новинок. Помню жаркие споры в актовом зале, которые вызвал роман Ю. Бондарева “Тишина”... Дискуссия продолжалась в нашем общежитии в Гавани, куда к нам заглянул ректор университета Александров. Помню не менее эмоциональное обсуждение книги И. Эренбурга “Люди. Годы. Жизнь” во Дворце труда на встрече с редакцией “Литературной газеты”, представители которой во главе с главным редактором Александром Чаковским тогда приехали в Ленинград, а встречу вел Даниил Гранин... Помню, как на кафедре мы общались – студенты на равных с преподавателями – с редколлегией журнала “Нева”, среди них был и с обожаемым в танке лицом поэт Сергей Орлов... Приходил к нам на филфак после своей поездки в США драматург Алексей Арбузов, рассказывал о своих впечатлениях от театральной жизни за океаном. Так было...

Моя специализация на кафедре русской советской литературы аукнулась в 1990-е, когда – в продолжение школьных уроков – я обратился к литературной публицистике. Не без уроков у Наумова мной была написана в 1993 году юбилейная статья о Маяковском. С его же, Наумова, подачи я откликнулся в 2005 году на многосерийный фильм о Есенине.

Филологическая наука не замерла ни в 1940-х, ни в 1960-х, ни – если не говорить об отдельных научно-образовательных учреждениях – даже в 1990-х. Своей способностью противостоять разного толка экстремалам она, разумеется, не может не огорчать прекраснодушных ревнителей литературоведческой экзотики. Но это уже проблемы, выходящие за рамки науки о литературе.

Отечественная наука о литературе не умерла. Но я не могу оставить без заметок на полях то место в рецензии Добренко, где он с болью говорит об уроке, который понесли от рук клеветников и доносчиков и советская литература, и советская филология. Непредвзятому читателю достаточно полистать страницы 8-томной Краткой литературной энциклопедии, издававшейся с 1962-го по 1975 годы, чтобы убедиться в том, что Гуковский был далеко не одинок. В обзоре журнальных публикаций 1962 года (“Новый мир”, 2012, № 11) Ел. Михайлик пишет о тех произведениях русской советской литературы, в которых одним из центральных положительных героев стал оклеветанный верный Советской власти человек. Она называет романы К. Симонова “Живые и мёртвые” (1959) и Б. Полевого “На диком берегу” (1962). Я бы в этой связи назвал и роман Г. Николаевой “Битва в пути”, который на два года опережал даже первую часть симоновской трилогии. В этот же ряд вписывается и заключительная часть трилогии Ю. Германа “Я отвечаю за всё”. Так об этом тогда писали...

Наука о литературе в целом не замерла. Но филологов из нынешнего СПбГУ я, например, уже не число по линии своей родословной. К такому выводу я прихожу, знакомясь с темами спецкурсов и спецсеминаров, которые предлагаются сегодня студентам на кафедре истории русской литературы, а также с трудами его сегодняшних сотрудников. С одним из них я не согласился в статье 2008 года о периодизации современной литературы (журнал “Огни Кузбасса”, 2010, № 5), с двумя другими разошёлся как раз по теме сегодняшнего отклика. В связи с тем местом, какое занимает имя Гуковского в рецензии Добренко, и тем фактом, что статья “Уроки, которые мы выбираем” (2011) пока не опубликована, предлагаю читателю довольно пространную выписку из неё: *“Разногласиям мировоззренческого характера мы обязаны сегодняшним обсуждением вопроса о том, реалист Пушкин или постмодернист. Под вторым, разумеется, следует понимать не обозначившееся в новейшие времена литературное течение “постмодернизм”, а всю разногласию мнений, подходов и ракурсов, противостоящих реализму.*

*В пушкинистике, информирует нас доктор филологических наук В. Маркович, уже в 60–70-х годах начинает исчезать понятие “реализм”. Объяснение этому профессор связывает с деидеологизацией литературоведения. (Я бы в этом случае говорил о перезагрузке идеологий, потому как свято место пусто не бывает. – В. Е.) Эта тенденция с годами усиливалась и была представлена работами таких учёных, как Гинзбург Л. Я., Виноградов И. А., Бахтин М. М., Лотман Ю. М., Бочаров С. Г. и других с не столь громкими именами. Все они, каж-*

дый по-своему, выступили против концепции реализма, озвученной Г. А. Гуковским в работах “Пушкин и русские романтики” и “Пушкин и проблемы реалистического стиля”. Что не устраивало их в концепции реализма?

Гуковский, объясняет Маркович, строил картину мира на идее социально-исторической детерминированности человека: личность человека и его судьба объяснялись как следствие жизненных обстоятельств и среды. Это и составляет мировоззренческую основу реализма. А что говорят оппоненты Гуковского?

Ю. Лотман, например, считает, что зависимость от среды — это лишь низший уровень человеческой личности. И. Беляк и М. Виролайнен (все ссылки на источники приводятся в кн.: Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. Статьи разных лет. — СПб, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. — В. Е.) в своей совместной работе утверждают, что “индивидуальный космос” личности противостоит всему остальному миру. У. Тодд объясняет характеры героев “Евгения Онегина” не сословной принадлежностью, а “очень широкой культурной парадигмой, обеспечивавшей синтез духовных ценностей России и Европы”. (Не знаю, как читатель, но для меня за этой мудреной фразой маячит этакая “парадигма” нашего современника Иосифа Бродского, оторванного от родных корней скитальца — перекасти-поле. Уж не им ли, непримиримым противником реализма, он был обрзан своей неприкаянностью? Литературная критика тех лет, случалось, пристраивала к себе в хвост в качестве ведомых наиболее впечатлительных писателей. — В. Е.) Ю. Чумаков предлагает перечитать заново пушкинский роман в стихах “под знаком вечности”, интерпретируя его героев в онтологическом смысле. Да и сам профессор Маркович усмотрел в сюжете “Евгения Онегина” проявление “мистериальных событий”, а в его героях — “субъектов извечного метафизического выбора”. Вот эту “многомерность и незамкнутость изучаемого художественного смысла” я и имею в виду, когда пишу о постмодернистской разногласии мнений, подходов и ракурсов, противостоящих реализму. Профессор в полной мере даёт нам ощутить воинствующий запал своих единомышленников, когда пишет о позиции Вольфа Шмида. Тот настаивает на ключевой роли в пушкинской прозе сверхъестественных мотивировок, без которых, по его мнению, любая интерпретация становится малобудительной и упрощающей сложный смысл этих повестей.

Маркович полагает, что после таких постмодернистских наскоков тезис о Пушкине как об “основоположнике русского реализма” словно растаял в сознании литературоведов. По-моему, профессор спешит выдать желаемое за действительное. Его статья была написана в первой половине 90-х годов. На той же кафедре истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского университета в 2001 году, на гребне поднявшейся волны антиреалистических тенденций, была издана работа О. В. Богдановой о пратексте русского постмодернизма, каковым, по её мнению, является повесть Венедикта Ерофеева о путешествии из Москвы в Петушки. (Богданова О. В. “Москва — Петушки” Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма. Методическое пособие для студентов-филологов и слушателей подготовительного отделения. — СПб. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2001)”.

Таким образом, нынешних петербургских филологов я воспринимаю как дальних-предальных родственников или даже однофамильцев: адрес по Университетской набережной — тот же, а впечатление такое, что они пребывают, на манер коллеги из Шеффилда, в каком-то чужеземном тридевятом царстве — тридесятном государстве. Иное — совсем другое дело! — Гуковский, по недоразумению причисленный к “родным космополитам”. Пространность посвящённой ему выписки, равно как и все предыдущие цитаты из моих статей, оправдана тем, что я привожу их — в духе рецензируемого Добренко двухтомника — в качестве документального свидетельства: вот как думал и писал в первое постсоветское двадцатилетие рядовой школьный учитель, выпускник Ленинградского государственного университета 1960-х годов.

Итак, сегодня расторопные литературные критики и обвинители продолжают топтаться у архивов, выдирают из них отдельные страницы, смакуя одни и игнорируя другие, создают на свой вкус “картинки из пазлов”. Вижу ли я какую-нибудь перспективу? Да, вижу. Когда дело перейдёт от авторов “журнальных расследований” к “неразворотливой” академической науке — вот тогда мы и разглядим тот лес, который, по присловью, пока что скрывается за деревьями.